

Григорий Палатников

## Кремона

Хорошо быть богатым бездельником. Бедным бездельником быть тоже приятно. Всю жизнь, а это нивроку семьдесят лет, и как (Исаак Эммануилович говаривал: «Это тебе не таракан начхал на скатерть») всеми фибрами души своей чувствовал я, что рожден для сладкого безделья. Конечно, богатое безделье предпочтительней, позвонил и попросил приготовить яхту на послезавтра к переходу на Сейшелы, гостей будет человек восемь, и на вопрос, когда и куда возвращаемся, отвечаешь:

– На Сейшелах разберемся. Позаботьтесь, чтобы бар и холодильник были полны.

Богатого безделья я не прочувствовал. Не пережил. К сожалению. Не даровал господь. Но и бедное безделье прелестно.

Размышляю об этом на пляже, растянувшись на песке после первого купанья. Пляж пуст. Ранее утро. Шезлонги и зонты еще и не думают расставлять. Лежу и думаю:

– Почему я, рожденный для безделья, всю жизнь работаю, как осел? Ведь каждая клетка моего организма протестует против этого. И дело не в хлебе насущном и социальном расслоении общества, голодная смерть мне никогда не угрожала, тут какой-то порок, скорей всего, сбой генного механизма, который породил позорное врожденное слабоволие, не дающее даже надежды улизнуть из-за письменного стола или мольберта.

И я начал перебирать моменты, когда на душе моей было хорошо и спокойно. Моменты, связанные с женщинами, я отбросил сразу, потому что рядом с этими непостижимыми созданиями никогда не удается достигнуть полной расслабухи. Остается игра

с детьми и сон заграничных вояжей, и такая, как сейчас, медитация – на берегу Понта Эвксинского.

«Понтийские медитации» уже написаны. Про детские игры я еще напишу, когда вырасту.

Остается рассказать о сладком сне вояжей. Тема для российской словесности не нова. От классических записок путешественника – до тривиальных, когда я был во Флоренции, или вояжировал из Чернигова в Воронеж. Но там главное – куда стремится непоседа. Например, насладиться великой революцией в Париже. Зрелище, можно сказать, захватывающее. Главное – вовремя успеть унести ноги. Пока комитет общественного спасения не заинтересовался тобой и не отправил на свидание с мадам Гильотиной. Можете представить ласковую улыбку Робеспьера. Или, восхитившись мифической ленью и уголовными наклонностями испанцев, радостно сообщить соотечественникам, как ты выжил, как ты спасся, как удалось избежать дорожных напастей и сохранить жизнь и скарб. Или еще развлекать аристократический бомонд рассказами, как сменил пухлую наваррку на сухопарую толедианку. Из всего этого слагается вся прелесть той суммы точек, из коих и состоит отрезок, соединяющий А и Б. Но как вы успели заметить, если учили хотя бы основы матанализа, какая в отрезке прорва неизвестных бесконечно малых, и каждая бесконечно малая – это миг пути с его неповторимыми ощущениями; я не говорю мыслями, мысль не успевает сформироваться – и не надо, перепрочувствуй момент в его неповторимой полноте, будь то млеющее от жары бескрайнее кукурузное поле, до горизонта, или проплывающие по самому краю окоема башни неизвестного собора. Или прелестная деревушка, увиденная с умопомрачительной высоты моста над ущельем. Промелькнет, и домиков не успеешь сосчитать, да что там домики, подумать не успеешь, почему там сметана, – а деревеньки уж нет, поезд нырнул в туннель, и через три минуты прельстившая тебя деревушка/местечко – по другую сторону хребта. А там, может, и не делают сметану, а может, она лучше той, за хребтом... И ты уже не в Лигурии, а вообще в другой стране, на Лазурном побережье Франции.

Любите отрезок между А и Б, в него вмещается вся ваша жизнь. Для кого-то это стремительный затяжной прыжок из ма-

теринского лона в могилу, для кого-то – монотонное следование малой скоростью. По тому же маршруту. Между этими буквами помещаются и сорок пять минут классной тоски над отрезком прямой, соединяющей две точки с унылыми пешеходами, движущимися навстречу друг другу. И сказочный круиз из Одессы до Александрии и обратно, как он помечен в туристских справочниках и капитанских картах. Так вот, ничего я так не люблю, как эти бесконечные точки, составляющие этот отрезок.

То замечательное «и» из детской загадки – про А и Б, сидевших на трубе. Вот это «и» и вмещает все счастье познания от перемещений по земле. Из А отбыл, и все, что с ним связано, осталось позади, а до Б или два двадцать, или два тридцать с минутами, если это самолет – средний европейский перелет, или ночь, а может, сутки, если поезд или автобус; главное – блаженное выпадение из суеты. Проблемы А остались за спиной, а к новым, связанным с Б, еще не прибыл.

Важно отключить память, не возвращаться все время в А и не гадать, что будет в Б, – а впитывать смену освещения, изменения пейзажа за окном. И еще прелесть европейских дорог. Прелесть есть и в дороге через казахскую степь, как бы длинна и трудна она ни была, хуже с прибытием в пункт Б. Мой излюбленный маршрут лежит через Австрийские Альпы. Маленькие автостанции. Раннее летнее утро. Пробирает холод. Мурашки пробегают по спине. Хорошо. Рядом стена гор. В долине виднеется деревушка, прикрытая туманом, только колокольня высится над этой ласковой периной. Быстро пересекаешь дорогу по направлению к бару. Вдыхая немислимо чистый, до сладости, воздух. Запах кофе. До дверей еще метров сто, а его аромат уже явственно щекочет ноздри – как они его варят? Может, дело не столько в качестве кофе и умении его варить, а в непередаваемой словом чистоте горного воздуха? А сливки, а вкус хорошего пива... Я люблю этот маршрут через Черногорию или Словению, а дальше – через Инсбрук по Австрии в Италию или Францию. К сказанному могу добавить, что вкус кофе в Венском музее истории искусств затмевает все воспомина-ния об этом напитке, где бы ты его ни пил: в Риме, Варшаве, Париже или Стамбуле. Так что, львовские кавярни, о чьих прелестьях столько глаголют галицкие литераторы, могут отдохнуть.

А пока я пишу эти строки в блаженном состоянии одесского безделья. С утра было пасмурно, небо заволочло тучами, было похоже на дождь. Но на пляж все же пошел. И море вознаградило за верность ему сказочным переливом жемчужно-серых оттенков и золота бликов на округлой низкой волне. Ей приятно плыть навстречу, а потом она плавно несет тебя к берегу. По дороге с пляжа купил кулек белого налива и абрикосов. Яблоки и абрикосы были сорваны – по словам хозяйственного крыжановского мужичка, расставившего свои корзины в тени акаций, – сегодня ранним утром. Мужичок не соврал, стоило надкусить яблоко, как сок брызнул во все стороны. Я люблю эти яблоки-скороспелки. Созревающие к середине июля. Дома, нарезав плоды дольками, я поедал их попеременно. Сладкие абрикосы чередовались с кисло-сладким белым наливом – все это запивалось остатками коньяка. В бутылке осталась примерно треть, так что завтрак аристократа удался. Да, кофе варят лучше в Вене, но лучшей «фрукты», чем у нас на юге Украины, нет. От мариупольской черешни, поразившей английского генерала в «Хождении по мукам», – до дынь и арбузов Эдуарда Багрицкого. А вишня Подбельского – остановиться нельзя, хоть язык уже немеет от умопомрачительной кисло-сладкой благодати. Благослови Господь память о человеке, который вывел этот сорт.

На мою долю досталось дешевое, бедное безделье. Зато наслаждаться им я умею мастерски. Могу поспорить, что из десяти голодранцев не более двух могут поспорить со мной в этом искусстве, да и то я дам им фору. Сколько раз я пересекал благодатную Ломбардскую долину и область Венето – и все время меня сопровождали надписи дорожных указателей: до Милана 240, и стрелка с загнутым концом: до Кремоны 70. До Турина 280, до Кремоны 110. До Вероны 160, и та же загнутая, как указательный перст, загогулина стрелки в сторону Кремоны. Несмотря на все мольбы – «Заедем на часок!» – туристский ковчег не изменял курса, и искривленная стрелка, отмечавшая развилку на Кремону, оставалась позади, а я, проглотив досаду, продолжал надеяться на счастливый случай. И вот Бог сподобил. В Бергамо мы прилетели. И на этот раз передвигались из города в город поездами. Обосновались в Милане. И вот на третий день во время

обеда, даже не во время, а в тот замечательный час, когда допивают вино, а чек еще не принесли, разговор свернул на прелесть ансамблевого исполнения в Ла Скала. Да и вообще в Италии. То, что итальянцы умеют петь, как никто, давно стало общим местом, общепринятой банальностью, и никого не удивляет. Но ансамбли – дуэты, трио, квартеты, квинтеты и т. д., а хоры! Оркестр! В любом оперном театре неподражаемо звучат, как фондовые записи, а это рядовой, обыкновенный календарный спектакль; по закону ассоциаций дошли до инструментов, на которых исполняется эта благодать. Тут и возникла, всплыла память о стрелке с загнутым наконечником и надписью – Кремона 70. Давай съездим в Кремону. Ночью по дороге в гостиницу зашли на Теормини и выяснили, что поезда на Кремону уходят каждый час и пребывают в пути примерно столько же. Следующим утром, сидя в электричке, мы вопрошали всезнающий Гугл о прелестьях Кремоны. Гугл поведал, что в ней семьдесят тысяч жителей, собор двенадцатого века, музей скрипки с филармоническим залом для демонстрации достоинств инструментов и чудес исполнительского мастерства, пинакотека и оперный театр – для городка, не достигшего статуса сотысячного, – сверхдостаточно.

Вышли на маленьком вокзальчике. Чудом сохранившемся раритете начала строительства железных дорог. Меня вообще трогает бережное отношение даже не к столь далекому прошлому. Сохранили все. И крошечную деревянную шкатулку кассового зала, и чугунные колонки с умильными коринфскими капителями, поддерживающими столь же крошечный стеклянный навес над перроном.

То, что мы прибыли в город Амати, Гварнери и Страдивари, было видно сразу по выходе из вокзала. По другую сторону привокзального скверика блестела скрипка. Пересекли садик с запущенной растительностью и неухоженным газоном. И уткнулись в символический памятник, скорее не памятник, а архитектурный знак – посвященный скрипке. Он был хорош. Из лона расколотой надвое виолы вылетали, закручиваясь спиралью, линейки нотного стана с разбросанными по ним нотными знаками. Жаль, что я музыкально безграмотен. Теперь, когда я пишу эти строки, я почти уверен, что это была запись мелодии. Был утренний час.

По дороге нам попало всего двое или трое пешеходов – сонный городок, ни одной машины, какая прелесть, тишина и покой, ничего не отвлекает, полируй свои скрипки, самосовершенствуйся и не спеша живи, со вкусом переживая каждый миг бытия. С мыслими, как бы хорошо было поселиться здесь на старости лет и спокойно завершать все начатое, отшлифовывать свои рисунки до совершенства скрипичных мастеров, приводить в порядок архив, а если не хватит мельтешни и суеты, до Милана – час. Ладно, мечты, мечты.

Итак, медленно, поминутно справляясь с картой, мы двигались к центру просыпающегося городка. Иногда фотографируя изысканные особнячки, то в стиле модерн, то арт-деко. Вышли на площадь перед собором. Она была полна. Шел рыночный торг, продавалось все, от джинсов до цветов и фруктов. Груды оранжевых, желтых, красных плодов полыхали на фоне мрамора соборного фасада. Их оттеняли цветы – невиданное буйство форм и красок, – срезанные и в горшках и горшочках. Над всем этим изобилием возвышался собор. Собор был хорош. Да и вся площадь хороша. Поднялись по широкой средневековой лестнице в мэрию городка, расположенную напротив собора. Двери радушно распахнуты, в самой мэрии ни души, осмотрели зал заседаний совета, полюбовались на средневековый штандарт города, на кресло мэра, из любопытства присели на него – никак не прочувствовали, не сопережили забот и тревог, одолевающих первое должностное лицо, и пошли осматривать другие залы. Они были отделаны в стиле то провинциального ренессанса, то провинциального барокко. Последующих стилей не было. Дальше только подновляли и реставрировали. На стенах висели картины, соответствующие отделке, зато вид на площадь *из открытых окон* был потрясающ. Окна были открыты. Я снимал и снимал, переходя от одного окна к другому, – собор, прилегающий к нему с двух сторон изысканный мраморный портик, такой же изысканный баптистерий, то ли тринадцатого то ли четырнадцатого века, чья конструкция купола на сто лет предвосхищала купол флорентийской Санта-Мария-дель-Фьоре, – и благословлял Господа за то, что надоумил свернуть с больших туристских дорог. Насытившись видом площади, отправились искать музей скрипки, по пути решив, что в таком очаровательном городке не грех остановиться на ночь.

Тут мы и встретили маэстро Монтеверди. Зачинатель оперы сердито смотрел на нас с невысокого постамента, прижимая к груди кипу бумаг – надо полагать, нот. Хотя по взъерошенному выражению лица вполне можно было предположить и долговые расписки, выведившие из себя творца. Сразу было видно, что это «не подарок». Человек сложной судьбы и невиданных страстей. Таково было его время. Его жизнь началась в раскаленную эпоху Ренессанса, а закончилась во время невиданных извивов барокко. Вообще, он как две капли воды походил на моего приятеля, актера и режиссера, постоянного моего собутыльника во времена моего сотрудничества с еврейским театром. Лицо крайне недовольного собой человека. Бронзовый композитор. Написал и ужаснулся – что может быть более нелепым, чем застывший в неизменности образ творца, но искусство умеет преодолевать и не такие трудности, как статическое начало скульптуры. На нас смотрело лицо человека, подверженного житейским порокам. Особенно красноречиво указывал на пагубную страсть пьющий нос. Но сказать, что перед вами заурядный выпивоха, язык бы не повернулся. Декарт, изображенный Франсом Хальсом, если верить великому портретисту, тоже был равнодушен к вину. А Хальсу можно верить, рука и глаз у него были безошибочны. Да и сам живописец был выпить не дурак. Особенно хорошо получались у него собутыльники, среди которых встречались и очень непростые люди. Писал он своих братьев по застолью с особой симпатией. Вот и Декарт – умен, ироничен, мог оказаться за одним столом с Монтеверди и Хальсом, и Россини присоединился бы, одна компания. Сдвинули бокалы или кружки, посмеялись, поболтали, опять сдвинули – глядишь, и портрет написан или ария, и особенно ясно становится после третьей бутылки, что человек – это мыслящий тростник.

И я мысленно извинился перед итальянцами за промелькнувшие мысли о несоответствии размеров памятника величию человека и отсутствие пиетета к национальному гению, сказавшееся в трактовке скульптуры. Какая любовь к человеку живет в этом народе, ко всем его проявлениям. И какой насыщенный жизнью образ. И я про себя повторил, не то что повторил, проорал слова Маяковского: «Ненавижу всяческую мертвечину, обожаю

всяческую жизнь!». А поскольку я в душе неисправимый бездельник, мне как никому другому понятна вся прелесть жизни Хальса, Монтеверди, Декарта. Великих собутыльников в братстве себе подобных. Их застолье, протянувшееся через столетия, и главное тут – братство, не по гражданству, подданству, не по воинской присяге или принадлежности к определенной корпорации, а по причастности к общечеловеческому братству симпатичных друг другу людей, собравшихся вместе выпить и закусить.

С этими мыслями пришел я в музей скрипки. Там я дивился инструментам, сработанными за столетия легендарными семьями, – это не только Амати, Гварнери и Страдивари, их десятки родов из столетия в столетие фабриковавших это невиданное ни до, ни после них совершенство, просто у всех на слуху самые знаменитые. Придуманно прекрасно. Стоишь перед виолиной – фиалкой, как называли ее во времена Монтеверди, – за стеклом, а она поет тебе. Знай переходи от красавицы к красавице, как султан в гареме, и наслаждайся совершенством форм и чувственностью голоса. К сожалению, я не султан – внуч в мире музыки, не дано сжать жадными пальцами гриф с откинутой, готовой к страсти изысканно выточенной головкой, прильнуть щекой к трепещущему лону, не извлечь страстный звук, не польется упоительная мелодия, не извлеку, не дано. Счастлив лишь тем, что могу смотреть и слушать голоса, вызванные к жизни великими виртуозами.

Покидали мы музей с последними посетителями. И только тогда вспомнили, что целый день прожили на чашке кофе, выпитом в Милане. Нам было не до того. Покоренные сюрпризами Кремони, мы забыли о еде. Вот тебе и маленький городишко. В поисках ресторанчика опять прошли мимо Сердитого Маэстро. Еще раз удивились на недовольное выражение лица создателя жанра. Затем долго стояли перед витриной скрипичной мастерской, смотрели, как молодой парень нехитрым скребком снимал еле видную, подобную пыли стружку с деки, изредка прикладывая ее к металлическим шаблонам и сверяясь с прибором, вероятно, скрипичной модификацией микрометра. В мастерской он был один. За исключением высоты помещения и сводчатого венецианского окна мастерская очень походила на гравюру Александра Кравченко. С потолка свисали скрипки разной степени готовности, а на столах

лежали дощечки с вычерченными контурами деталей скрипок. А парень сидел в глубине интерьера, далекий от соблазнов вечерних развлечений, полностью погруженный в свою погоню за совершенством, и все истончал незатейливым скребком золотистую плоть деки. Я мысленно пожелал ему удачи: может, и сотворит чудо, и запоет новопостроенная скрипка голосом, не уступающим голосам ее классических сестер. И тогда я понял смысл сердитого выражения на лице Монтеверди, человека, недовольного собой в непрестанных поисках совершенства. То, что вызывает восторг сию минуту, через пару мгновений может оказаться пройденным этапом, общим местом, банальностью. Он поднимался, как и всякий творец, к небу, по горячей лестнице, не оглядываясь на уже пройденные ступени; только он переступал с них на следующие, они, отделившись и полыхая огнем, падали в пропасть времен, но он не останавливался, он шел наверх. Это была лестница Якова, постоянно сжигаемая жаждой совершенства.

Он уехал из Кремоны давно. Только в зыбких видениях снов он возвращался сюда, в город своей юности. Его приковала Венеция. Море. Столь изменчивое, оно диктовало невиданные партитуры невиданных опер, и только скрипки – скрипки, что присылали ему в подарок из Кремоны, властно напоминали: ты из племени мастеров. Для таких инструментов грех писать плохо, и он писал. Мы не знаем, как проходил процесс его творчества, писал ли он набело, или без усталости переписывал, была ли это работа – вряд ли. Тут скорее можно говорить об образе жизни. Примерно в таком русле текла наша беседа за ужином.

Можно говорить обо всем. Всякое явление достойно повествования, но почему-то о прелести ленивого течения жизни написано не так много. Как я говорил, страсть к безделью у меня в крови, поэтому я как никто могу *прочувствовать* всю прелесть неспешной кремонской жизни. И если взять самых отпетых одесских бездельников, то в искусстве проживать *dolce, dolce far niente* со мной могут поспорить не многие – тут я беспспорный дока. И с жаром поведал я своему спутнику теорию плодотворности вот такого времяпровождения. Необходимого подножия всяческого искусства. Литровый кувшин вальполичеллы мы допили и принались за второй. Над нами мерцали звезды, а мы все говорили

о счастье искреннего высказыванья... да что высказыванья – проявления произведения в ходе такого не мотивированного ничем, кроме безделья, творчества. Только так, чтобы занять себя, чтобы скучно не было, можно поставить задачу создать чудоскрипку, а когда это получилось, прибавить: «Во славу Господа». Нарекая их – Дель Джезу.

То, что эта погоня за совершенством растянется на всю жизнь, станет ясно гораздо позже, и только так через много десятков лет ты поймешь, что ты сделал и кто ты есть. «Я высек Пиету Ронданини для собственного удовольствия», – написал Микеланджело, как говорят дети, просто так, – а это был последний год жизни мастера.

Не знаю, как мой друг, но я твердо проникся мыслью, что сколь бы невероятно сложна ни была поставленная задача, *одним* трудом ее не решить. Полюбите свое дело – и вам никогда не придется работать.

